

«ИГРОК» ПОМОГ МНЕ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

— Какой он, ваш Алексей? Вашу трактовку этого образа не назовешь обычной. Герой Достоевского и Прокофьева в вашем исполнении похож то на героя Олега Меньшикова, то на одного из персонажей Набокова. И, кажется, он совсем не неврастеник...

— Я и не хотел делать своего героя неврастеником, мне это не близко. Мне кажется, что Алексей — нормальный, жизнерадостный человек. Я даже считаю, что он веселый, и мне было просто сделать его таким, дерзким, открытым. Хотя, может быть, в первых спектаклях мне это и не вполне удалось.

— Сказывалось ли как-нибудь на вашей трактовке то, что действие оперы перенесено в начало XX века, то есть в 1916 год, в год создания «Игрока» Прокофьевым?

— Мне кажется, что мы сейчас настолько далеки от начала века, что перенос действия на какие-то 50 лет радикально не меняет нашего отношения к происходящему на сцене как к далекому прошлому. Я все равно ощущал себя не в 20-х годах XX столетия, а в XIX веке. Для меня это был Достоевский, а не, допустим, Набоков.

— А Прокофьев? Вы ведь не пели в «Дуэнь», которая идет в Театре Станиславского?

— Нет, не пел, хотя знаю партию Антонио.

— Но зато сразу спели «Игрока»! А я знаю, что некоторые тенора в Большом театре отказались петь Алексея. А вы — согласились. Что вам дало уверенность в себе?

— Как написала одна из газет, по-моему, «Культура», у меня все равно некрасивый тенор. Можно даже сказать, противный. Наверное, из-за этого я и не побоялся. А если серьезно, то я люблю трудности. Чем сложнее, тем интереснее.

— Можете быть, поэтому вы так выросли, сценически и вокально.

— В этом, наверное, есть еще заслуга режиссера Александра Тителя. Он раскрепостил мою сценическую инициативу, заставил преодолеть скованность. Я на сцене себя чувствую как дома. Все режиссеры работают жестко, и он не исключение, без этого нет режиссуры. Но Титель в рамках своей концепции дает свободу актеру. Если актер показывает что-то свое, и это совпадает с его видением, он разрешает это оставить в спектакле.

— А какие мизансцены в «Игроке» предложили вы?

— Например, последняя сцена объяснения Полины и Алексея. Это — самая сильная и слож-

ная во всем произведении сцена. Нет финала, нет оперы, нет спектакля. Когда мы с Олей Гуряковой начали работать над этой картиной, она сразу у нас «пошла», не было никаких указаний режиссера, мы действовали по наитию. Эта сцена практически неизменной осталась в спектакле. Титель добавил некоторые штрихи, чтобы эта сцена «заблестела».

— Вы не устали вокально, спев первый спектакль? Мне показалось, что на втором вы чувствовали себя раскованней и спокойней. Что дает вам возможность бежать на такие длинные дистанции? Партия Алексея сложна для вас?

— Да. Мне было сложно с самого начала. Когда я открыл клавиш, я сказал себе: «Наверное, я никогда этого не выучу!» Но то была минута слабости. Я учил партию с перерывами месяца два или три. Я думаю, что учу быстро. Контракт я подписал 20 декабря, и с этого момента начал учить партию основательно. Конечно, в партии очень много текста. И говорить нечего, что музыка не похожа на привычных Пуччини и Верди! Но Прокофьев тем и интересен, что он композитор новой формации. В самом начале мне было сложно, а вокальная выносливость, наверное, моя приобретенная черта, выработанная опытом. Партия была «доведена до ума» уже в процессе репетиций, выучить в классе — одно, выйти на сцену, действовать на ней — совсем другое. Я в Театре Станиславского пою уже четыре с половиной года, и мне совсем скоро будет 34 года, 21 июня, в день следующего спектакля. Мне кажется, что «Игрок» помог мне выйти на какой-то новый уровень. Репетиционный период перед «Игроком» был протуженным, приходилось много петь. Накануне премьеры я пел полный прогон. Конечно, 5 июня я не отработал так, как мне бы хотелось именно из-за голосовой усталости и подсознательного волнения, хотя сам я его и не ощущал. Но знаю, что оно было, не могло не быть, ведь я впервые вышел на сцену Большого театра, да еще участвовал в мировой премьере. Это так серьезно!

— А вы слышали Галузина в «Игроке»?

— Да, четыре года назад, когда он приезжал в Театр Станиславского. Я очень хорошо помню это, потому что тогда я пришел в театр. Я слушал его и в записи. Не могу сказать, что сравниваю себя с Галузиным, он очень сильный вокалист. Я вообще не отталкивался от его образа. Ведь первая редакция «Игрока» — это совсем другая музыка, чем во второй. Один композитор, один стиль, но разные оперы. Поэтому и характер моего Алексея другой. Так же,

как не отталкивался я и от образов Олега Меньшикова, хотя мне льстит то, что говорят, будто мой герой на него похож. Меньшиков — прекрасный актер и, наверное, мне близок Чацкий, которого он играл. Думаю, что в Алексее есть что-то от Чацкого. А когда говорят, что я похож больше на Германа, чем на Алексея, это своего рода тоже комплимент. Оба — игроки, можно их сравнивать.

— Вы пели свой первый спектакль в Большом под управлением самого Геннадия Рождественского. Вы почувствовали что-нибудь особенное?

— С первой же репетиции, едва он встал за пультом! Он сразу же собрал оркестр. У него такие руки, что я их чувствую спиной. Его энергетика — просто потрясающая, его лицо очень располагает к себе. Работать под его руководством — просто наслаждение. Он — такая значительная фигура. И вокалистам с ним удивительно удобно. Мне просто выпало счастье поработать с этим дирижером, даст Бог не в последний раз.

— А чем объясняется то, что именно вы, солист Театра Станиславского, пели обе премьеры?

— Я не вникал в вопросы административного плана. Мое дело — работать.

— Вы репетировали с певцами Большого театра. Почувствовали ли вы разницу между собственным подходом к работе и их?

— Нет. Все — профессионалы. Разницы нет. Думаю, что все стараются работать в меру своего таланта. Я люблю и стараюсь быть максимально раскованным на сцене. Со свободой легче бороться, чем со скованностью.

— Каковы ваши дальнейшие планы? Вам не предлагали что-либо еще исполнить в Большом театре?

— Пока предложений не поступало. Но если позовут, буду только рад. Самое главное, что теперь такой спектакль, как «Игрок», уже есть, уже существует. Критики приходят на премьеру, но это не показатель, это самый сложный спектакль. Хотя бы пять спектаклей должно пройти, чтобы он начал жить. Когда я выходил на сцену во втором спектакле, я не знал, спою ли я его. Но когда начал петь, то понял, что могу спеть и три спектакля подряд. А сейчас уже готов петь и третий, и четвертый, и пятый...

Беседовала ИРИНА КОТКИНА



Фото Ларисы Педерчук

Большой Театр — 2001. — июнь (и 4). — с. 2